

2. КАНЦЕЛЯРСКОЕ УБИЙСТВО

«Не можете ли Вы, — заключал писатель, — выхлопотать — в спешном порядке — для Блока выезд в Финляндию, где я мог бы помочь ему устроиться в одной из лучших санаторий?» Горький просил передать это письмо Ленину.

Письмо не произвело впечатления. Похоже, в ответ Горький услышал то, чем сам отозвался однажды на просьбу выделить брьюки для Мандельштама. Он тогда подумал и сказал: обойдется. И Мандельштам, конечно, обошелся. Но Блок обойтись не мог. Созванный 18 июня консилиум это подтвердил. Врачи пришли к выводу, что в ближайшее время

большого нужно поместить «в одну из хорошо оборудованных, со специальными методами для лечения сердечных больных санаторий». В частном письме профессор П. В. Троицкий позволил себе то, чего не нашёл возможным сделать в свидетельстве, составленном консилиумом, — указал на «необходимость заграничной поездки, за неимением благоустроенных санаторий в России». И снова Л. Д. Блок обратился к Горькому с мольбой о помощи. (Ее письмо датировано 21 июня). И Горький, отправившись в Москву, 23 июня, снова обратился к Ленину, но уже лично и с заключением консилиума в руках. Ленин возражать не стал: все-таки Горький, все-таки официальная бумага... Но и груз ответственности взваливать на себя не торопился. В итоге, где и как лечить умирающего Блока, должно было решать — не считая это за шутку — Политбюро ЦК РКП(б). Ни больше ни меньше. А пока документы, как обычно, ушли на Лубянку к Менжинскому, тогда члену Президиума, но вскоре уже заместителю председателя и председателю ЦК — ОГПУ.

В начале июля П. С. Коган, сообщив Луначарскому о тяжелом состоянии Блока, попытался из квартиры наркомозвониться до Петрограда, но телефон на Офицерской не отвечал. Тогда Луначарский дал Когану номер Горького и, по-видимому, от него еще раз услышал, как плохи дела Блока, и узнал, что документы на выезд в Финляндию Менжинский притормозил. Во всяком случае, 11 июля Луначарский написал в ЦК РКП (копия т. Ленину), что единственная возможность поправить здоровье Блока — «временный отпуск в Финляндию» и что он вместе с Горьким об этом ходатайствует. «...Просим ЦК, — заключал Луначарский, — повлиять на т. Менжинского в благоприятном для Блока смысле».

Напрасно было бы ожидать, что, получив это письмо, председатель Совнарком тут же устроит выволочку т. Менжинскому, а еще раньше запросит справку в Наркомздраве: не лучше ли, допустим, будут для Блока условия в Германии или Италии? Увы, Ленина занимало другое: есть ли гарантии, что за границей Блок сохранит свою лояльность к большевистскому режиму, которую так настойчиво подчеркивает Луначарский. То, что только политическая лояльность дает право на эффективное лечение, подразумевалось само собою. Поэтому совсем не в Наркомздрав отсылает Ленин письмо Луначарского, а как нетрудно сообразить, в Чека. «Тов. Менжинский!» — приписывает он от себя. — Ваш отзыв? Верните, пожалуйста, с отзывом». А у тов. Менжинского отзыв уже готов. И в то самое время, когда его петроградские коллеги, мертвой хваткой вцепившись в Таганцева, азартно строят планы массовых расстрелов, Менжинский с непонятным хладнокровием предлагает: создать для Блока хорошие условия где-либо в санатории в Бределах России. Конечно, результат будет тот же, что и в деле Гумилева, но

зато сколько внимания и заботы вместо первобытного варварства!

Ходатайство Луначарского и Горького рассматривалось на заседании Политбюро под председательством Ленина 12 июля. Однако, вместо того чтобы «повлиять на т. Менжинского в благоприятном для Блока смысле», члены Политбюро согласились с ним в главном: Блока не выпускать. Возмущенный Луначарский отправил 15 июля в ЦК большое протестующее письмо. Только в прошлом году Н. И. Дикунин удалось опубликовать его целиком («ЛГ», 28 ноября 1990 г.). «Высоко даровитый Блок умрет недели через две», — писал Луначарский, и «тот факт, что мы уморили талантливейшего поэта России, не будет подлежать никакому сомнению и никакому опровержению». Через неделю после его письма, 23 июля, Политбюро все-таки пошло на попятную, и Блок наконец получил разрешение лечиться за границей. Но он был уже настолько слаб, что, по словам доктора, не выдержал бы и переезда за город. Тем более без сопровождающих.

И хлопоты возобновляются. 29 июля Горький шлет срочную телеграмму Луначарскому, 1 августа Луначарский снова обращается в ЦК, убеждая выпустить вместе с Блоком его жену. Теперь верховная власть соглашается и на это. Но Блок уже почти все время в забытьи. Страдания его так ужасны, что стоны и вскрикивания слышны на улице. А нужно еще оформить документы: заполнить и отправить в Москву анкеты, в Москве получить паспорта и привезти их в Петроград... Впрочем, они не понадобятся. Утром 7 августа страдалец закричит: «Мам!» Скажет ей: «Ты стань сюда». Поставит жену с другой стороны, вытанцует и умрет.

Луначарский предупреждал: Блок умрет «недели через две». Он умер через три. Говорил Анатолий Васильевич и о том, что снят с ЦК вину за эту смерть будет невозможно. Однако уже 17 августа, выступая в Доме печати, попытался переложить ее на... друзей Блока. Оказывается, ее недостаточно настойчиво и своевременно оповещали правительство о болезни поэта. Между тем расторопность самого правительства и его чиновников была весьма специфичной. Менжинский сообщил Ленину свой иезуитский отзыв в день запроса, Агранов подвел Гумилева под расстрел за три недели, но даже двух месяцев — от первого письма Горького Луначарскому до последней срочной телеграммы — так и не хватило, чтобы реально помочь умирающему Блоку.

Настоящие причины трагедии, как и ее масштабы, утратить было невозможно. Уже на следующий день, 8 августа, Евгений Замятин писал К. И. Чуковскому: «Вчера в половине одиннадцатого утра — умер Блок. Или вернее: убит пещерной нашей, скотской жизнью. Потому что его еще можно — можно было спасти, если бы удалось вовремя увезти за границу. 7 августа 1921 года такой же невероятный день, как тот — 1837 года, когда узнали: убит Пушкин».

На смерть Блока Цветаева откликнулась вереницей скорбных стихотворений. В одном из них рядом с Блоком, неназванный, появляется Гумилев:

Не проломанное ребро —
Переломленное крыло.

Не расстрелянными навывлет
Грудь простреленная, — не вынуть

Этой пули. — Не чинят крыл.
Изуродованный ходил.

В ответ рецензент журнала «Печать и революция» Ив. Кубиков разразился привычной бранью: «Конечно, А. Блок — большой поэт, но к чему эта истерическая психопатия?»

ТРИ СМЕРТИ:

БЛОК, ГУМИЛЕВ, ЦВЕТАЕВА,

В ТО САМОЕ время, когда умирает Блок, Цветаевой судьба посулила надежду на возвращение к жизни. 1 июля 1921 года она получила письмо от мужа, о котором не имела известий два года. Сергей Яковлевич Эфрон, прошедший с белой армией весь ее крестный путь и оказавшийся в галлиполийском лагере под Константинополем, написал жене: «Я живу верой в нашу встречу». И она в своей тетради вывела: «С сегодняшнего дня — жизнь. Впервые живу». Менее чем через год она уже была в Берлине.

Как случилось, что за границей бывший белый офицер стал в середине 30-х годов доверенным лицом НКВД, не только участником, но и организатором его кровавых авантур? После ареста Вс. Мейерхольда и зверского убийства Зинаиды Райх Пастернак напомнил, что Всеволод Эмильевич любил повторять: «Вы плохо знаете Шекспира! Читайте внимательно Шекспира!» Дочь Цветаевой и Эфрона, Ариадна (Аля), узнав об этом разговоре после всех своих лагерей, сказала: «Да нет, это был совсем не Шекспир, это было страшно Шекспира, это была просто жизнь...» Что-то подобное можно было бы сказать и об участии Эфрона.

Обосновавшись в легальном парижском Союзе возвращения на родину, Эфрон постепенно втягивается в агентурную работу. Устраивает слежку за сыном Троцкого — Львом Седовым. Судя по некоторым обстоятельствам, участвует в похищении генерала Миллера — преемника похищенного ранее генерала Кутепова. Входит в оперативную группу, которая начинает охоту за бывшим советским резидентом Рейссом, отказавшимся вернуться в Москву. 4 сентября 1937 года Рейсс был расстрелян террористами в окрестностях Лозанны. Полиция в конце концов нашла след убийц, и Эфрону пришлось бежать в СССР, оставив во Франции жену и двенадцатилетнего сына Георгия (Мура). Дочь уехала в Москву еще весной.

В эти дни Цветаева и сказала — «просто и обиденно» — одному из близких людей: «Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура...»

Жить во Франции, да и вообще в эмиграции после всего было заказано. Оставалось последовать за дочерью и мужем. Это и было верное самоубийство, только с отсроченным исполнением. Перед отъездом Цветаева заканчивает стихотворение, начатое еще в тот день, когда Гитлер вошел в Прагу, — свой ответ торжествующему фашизму:

О, черная гора
Затмившая — весь свет!
Пора—пора—пора
Творцу вернуть билет,



М. И. Цветаева.
Рисунок дочери.
Париж.

3. ПОТЕРЯННАЯ МОГИЛА

Отказываюсь — быть.
В бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей

Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь пить —
Вниз — по печению спин.

Не надо мне ни дыр
Ушных, ни щечных глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.

Из Франции Цветаева выехала в июле 1939 года — как раз вовремя, чтобы успеть в Москву к аресту дочери (27 августа) и аресту мужа (10 октября). Чекисты замечали следы. Ее не трогают. Ее только подталкивают. 15 сентября 1940 года она записывает: «Никто не видит — не знает, — что я год уже (приблизительно) ищу глазами — криком...»

Сохранился осколок ахматовского стихотворения 30-х годов:

...Оттого, что мы все пойдем
По Таганцевке, по Есенинне
Иль большим маяковским путем.

Вряд ли Цветаева знала это стихотворение, хотя два дня провела с Ахматовой в начале июня 1941 года, но когда услышала о войне, сказала: «Как бы мне нужно было сейчас поменяться местами с Маяковским!»

Эвакуация загнала Цветаеву в Елабугу — это на Каме, далеко за Чистополем, где осели члены Союза писате-

лей и их семья. Говорили, что Цветаевой не позволили жить в Чистополе, что не взяли даже судомойкой в писательскую столовую. И ошибались. Не сразу, но прописка в Чистополе была разрешена, место судомойки — твердо обещано. Можно было выжить — нельзя было жить. «Если Цветаеву можно определить в судомойки, — горько иронизирует Л. К. Чуковская, — то почему бы Ахматову не в поломойки, а жив был бы Александр Блок. — его бы при столовой в истопники».

В обращении к Муру предсмертным письме Цветаева написала: «Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».

АХМАТОВА разыскала могилу Гумилева через девять лет. «Поляна; кривая маленькая сосна; рядом другая, мощная, но с вывороченными корнями, — записала ее рассказ Л. К. Чуковская. — Это и была стена. Земля запала, понизилась, потому что там не насыпали могил. Ямы. Две братские ямы на шестьдесят человек. Когда я туда приехала, всюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала: другие приносят на могилу цветы, а я их с могилами срываю...»

Через 23 года после похорон Блока его останки были вырыты из земли, перевезены на другое кладбище и положены в чужом склепе под казенным надгробием.

Могилы Цветаевой затерялась на елабужском кладбище.

В. РАДЗИШЕВСКИЙ

ПЕРЕД САМЫМ арестом в разговоре с В. Ходасевичем Гумилев стал уверять, что ему суждено прожить очень долго — по крайней мере до девяноста лет. Он все

повторял:
— Непременно до девяноста лет, никак не меньше.

Было ему тридцать пять, а счет уже шел на дни.

Но Блок умер своей смертью, а прожил ненамного больше. Александр Галич о смерти Пастернака поет:

И не то чтобы с чем-то за сорок.
Ровно семьдесят —
возраст смертный...

«С чем-то за сорок» — это тот самый бессмертный возраст, в котором, однако, скончался Блок.

В начале 21-го года Блок обдумывает свою Пушкинскую речь, ставшую его литературным завещанием. С карандашом в руках читая статью Вл. Соловьева «Судьба Пушкина», он резко подчеркивает фразу: «Пушкин убит не пулей Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна». Это умозрительное обвинение Пушкину Блок безоговорочно переадресует тем, кто отнимает у поэта творческую волю, посягает на тайную свободу: «И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха». И еще раз: «...поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл».

На удивление отчетливо слышится в блоковской речи — при всей метафоричности и широте обобщений — последние, предсмертные слова Пушкина: «Жизнь кончена. Тяжело дышать, давить». А через несколько месяцев в последнем письме к матери Блок скажет о себе почти теми же словами: «Делать я ничего не могу... все болит, трудно дышать и т. д.». «Больной был очень слаб, — передает тетка Блока, М. А. Бекетова, — голос его изменился, он стал быстро худеть, взгляд его потускнел, дыхание было прерывистое, при малейшем волнении он начинал задыхаться». О том же сразу после смерти Блока написала Е. Ф. Книпович: «Он не мог уловить и продумать ни одной мысли, а сердце причиняло все время ужасные страдания, он все время задыхался». Его тоже убило «отсутствие воздуха». И не только инкозасательно, а и буквально.

Блок умирал почти три месяца. Первый угрожающий приступ болезни был у него в середине мая, второй — в конце мая. «Сейчас у меня ни души, ни тела нет, — жаловался он, — я болен, как не был никогда еще...» Домашний врач Блока А. Г. Пекелис предложил немедленно увезти больного за границу, где только и можно было обеспечить тогда необходимое лечение. Любовь Дмитриевна Блок кинулась к Горькому, и он тотчас же, 29 мая, обратился с письмом к Луначарскому. У Блока — цинга, сообщил Горький, участились припадки астмы, он в таком нервном состоянии, что его близкие и врачи опасаются серьезной психической болезни.

Начало см. в «ЛГ» от 7 августа с. г.